

Петр
ПРОСКУРИН



МАЛЕНЬКАЯ
ПОВЕСТЬ

ИНОГДА необходимо возвращаться назад, чтобы еще и еще раз понять и сказать себе, что и сам ты, и все твоё вышло из детства и юности, и тем самым как бы оправдать происходящее в самом себе и вокруг; без этого дальнейший путь теряет всяческий смысл.

Найдя в один прекрасный день после долгих размышлений и мук районную контору по оргнабору и изучив список мест, куда требовалась как мужская, так и женская «рабсила», я выбрал самое отдаленное, что только было, Камчатку, хотя минутой раньше совершенно не помышлял ни о какой Камчатке, и, не раздумывая, тут же заключил договор, сдал паспорт объемистому гражданину с толстым портфелем, уполномоченному оргнабора, некоему Титову, получил у него взамен сто пятьдесят рублей, внимательно выслушал от него наставление, когда нужно будет явиться окончательно и что необходимо взять с собою, и с облегченной душой вышел на улицу. И сразу весь мир изменился, мне стало легко и свободно — впервые три с лишним года неизвестной, зато вполне стабильной жизни; она будет определяться отныне статьями великоллепной казенной бумаги с наименованием «Трудовой договор» под № 123 от 15 июня 1954 года; и, следовательно, мне была обеспечена еще на три года возможность писать стихи, пьесы, повести да и романы (к этому времени я написал уже несколько глав фантастического романа о путешествии к центру Земли, жаль, пра-

широко раскинувшегося внизу, еще кое-где покрытого полую водой, широченного пространства заливных лугов с петлявшей по ним речкой — безлюдье было передо мной и неизвестность. Только потом, много лет спустя, я понял, что это и была та запредельная страна моего детства, из которой и начинался иной путь, иной отсчет жизни; это была моя Русь, и Русь эта проляжет на всю последующую жизнь огненной нитью через самое сердце, и я всегда буду помнить эту минуту на обрыве моего детства, буду помнить, что именно с этого момента мне никогда больше не будет страшно. Разумеется, это не относилось тогда к литературе; я и думать о ней не думал. Это относилось к обыкновенной жизни; что-то произошло, и жить было уже не страшно.

Праздник полнейшей душевной свободы, раскованности и бесстрашия, то непрерывно захватывающего движения продолжался, начавшись на высоком обрыве, в самом конце одной из улиц районного древнего русского города, стоявшего на прахе многих поколений и веков. Я, конечно, не понимал и не мог понимать тогда, что этот высокий обрыв на берегу реки Сева и был тем плодотворным подножием, материковой, материнской основой, придавшей всему, что я потом делал и писал, подчиняющий смысл. А тогда я ведь был еще молод, и то, что мне предстояло в жизни, казалось праздником. С таким вот глубоко скрытым чувством непрерывного праздника я через несколько дней, попрощавшись с родными и с ма-

тоже Поповых, у них тоже был дед, уже по прозвищу Рыжий; он и действительно был рыжий, даже какой-то праздничный от густо сбрызнутого яркими веснушками лица и бесстыдно огненной головы; небольшая борода у него завивалась веселыми колечками вперед и вверх. Жену его звали Варечкой Черной, она и в самом деле была, как галка; ее считали ведьмой и потому боялись. Дед Рыжий был хорошим плотником и, естественно, был в эту тяжелую осень нарасхват, и он откликался охотно; ревнивая бабка Варечка всеми правдами и неправдами старалась удержать его дома, придумывая ему всяческую работу, но он был волюнтерист и все-таки уходил; вечером бабка Варечка уже ждала его у входа в землянку и тут же на вольном воздухе начиналось выяснение отношений, и делалось это с размахом и даже со вкусом. Варечка особенно любила, если при этом присутствовали свидетели, тогда она становилась поистине вдохновенной, послушать ее выходили почти все обитатели землянок, за исключением бабушки Настюхи, питавшей к Варечке застарелую неприязнь за ее принадлежность к поганому, ведьмовскому роду; и я до сих пор жалею, что не записывал тогда импровизации Варечки по свежим следам.

Подступили погожие сентябрьские дни, предвещавшие близкой осени; устоялась поистине осенняя тишина; давно уже не слышалось ни звуков боя, ни утробного рева танков; и самолеты стали летать в нашу сторону совсем редко. Поля, изрытые траншеями, окопами, усыпанные глубокой — коростой от взрывов снарядов и бомб, — дышали; кровавые битвы прогремели над этой ныне тихой землей и отхлынули, оставив после себя самый безобразный, искореживший землю след. Ах, какая надвигалась удивительная осень отдохновения души; сердца отвыкали от мучительных судорог; все было пусто окрест, все было разгромлено, зато к порогу подступало теперь самое бесценное — осенняя, невероятная, сказочная тишина.

Уже серебрилась тонкая, цепкая паутина; разумеется, все старались, пока было тепло, меньше находиться в землянке и с утра до вечера работали под открытым небом. Старик и женщины занимались своим, мы — своим, мне уже сравнялось пятнадцать, и я был взростом человеком по тем временам, на меня во все глаза глядели два родных брата и двоюродный любимый белоголовый Серега, для них не мать, а я был непререкаемым авторитетом, и на мне довольно тяжело сказывалась эта ответственность. Вокруг было разбросано великое множество гранат, патронов, снарядов, винтовок, попадались и пистолеты; в лесу поблизости стояли на боевых позициях брошенные в японцах заряженные пушки, на десятки верст тянулись минные заграждения, любой шаг, малейшая ребячья воляность могли оказаться роковыми, и этого больше всего боялись наши матери; меня просили глядеть за непоседливыми и неугомонными братьями. Но мальчишки есть мальчишки, их в поре десяти — пятнадцати лет собралось у нас в поселке человек двадцать; разумеется, они разделились на различные группы, были будлянские, были косицкие; вскоре они насобирали и напратили целый арсенал самого различного оружия, куда входили карабины и автоматы, гранаты и патроны, снаряды и гранатометы — специальные небольшие приспособления к обыкновенным немецким винтовкам, позволяющие стрелять довольно далеко, примерно метров на пятьсот — восемьсот небольшими, похожими на снаряд, специальными гранатами. Была у нас и вполне исправная небольшая противотанковая пушка в лесу, из которой мы, не удержавшись от великого соблазна, все-таки несколько раз стреляли неизвестно куда и зачем.

Сейчас, с высоты возраста, пожалуй, многое можно понять и объяснить; послушное, попавшее в наши руки боевое оружие пьянило; у меня у самого, несмотря на строжайший приказ сдавать найденное оружие, были запрятаны два прекрасных карабина (один с оптическим прицелом) и несколько тысяч патронов к ним в цинках. Об этом не знали даже неутомимо вездесущие младшие братья, знал лишь средний — Володя; с ним на следующий год по весне мы ходили с этими карабинами стрелять перелетных уток; правда, после долгого периода неудач мы догадались вынимать из боевых патронов пули, отсыпать из гильз пороха, остальной порох затыкать тряпичной или куделей, сверху насыпать мелко нарубленной проволоки, а затем опять заделывать патрон

Возвращение



во, что эти главы, написанные на обоях, съели потом мыши, когда мать после моего отъезда на Камчатку собрала мои писания, сложила их в ящик из-под немецких мин, зашлепнула двумя запорами и положила этот ящик для сохранности в самое сухое место — на потолок, на чердак).

О другом я не помышлял в то время и отправился беспечно бродить по улицам своего родного городка; любовь к нему была во мне неистребима, несмотря на связанные с ним самые тяжелые и страшные минуты в жизни. Не берусь объяснять, почему у взрослого уже человека просыпаются какие-то не своиственные ему по характеру черты и он бродит по закоулкам, вспоминая давно уже протевшее детство; вроде бы и выветрившиеся давно из памяти пустяки оживают с новой силой, трансформируются в яркие, живые образы; вдруг возвращается какое-то второе зрение души — и оказывается, ты и сам не знал, что в тебе скрывается не один и не два, а несколько слоев жизни, и каждый по-своему интересен, каждый ждет своего часа заявить о себе, зазвучать, и тебе приходится даже удивляться: откуда, откуда?

Много самых различных мыслей и чувств пронеслось в голове, пока я бродил по тихим, поросшим привычной упругой травой улицам; прежнего городка, уютного, со старыми купеческими домами, с затейливой лепниной на фронтонах и по карнизам и в помине не было — война ничего не пощадила, и даже старые церкви и монастыри с их трехметровой толщины стенами у оснований, не говоря уж о верхах, куполах, сегментах, были непоправимо покалечены. Я прошел по улице своего детства, на ней тоже почти не сохранилось старых, знакомых мне домов, я видел вновь поднимавшееся, наспех сооруженное жилье; я шел по улице от центра к реке, тем самым путем, которым когда-то неисчислимое множество раз гонял на луг и пригонял домой гусей, бежал в жаркие летние дни купаться, возил зимой из колонки воду в бочке, поставленной на салазки, или перелезал через монастырскую ограду на стадион во время футбольных матчей... Мне показало, что ничего этого не было, что все это привиделось в каком-то счастливом неясном сне, — и тогда я понял, скорее не понял, а кожей ощутил, почувствовал, что лучшая, несмотря ни на что, часть жизни, когда каждый миг был неповторимым узнаванием, открытием, уже позади и уже никогда больше не вернется.

Незаметно я вышел за город и долго сидел на обрыве, не отрываясь от

Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО

-2- Дек 1954

Литературная Россия
г. Москва



пыжком. Это нововведение сразу же стало приносить нам удачу: за один раз мы подстрелили сразу несколько уток, что и явилось началом, как оказалось, непоправимого несчастья, болезни и смерти бабушки Настюхи, но до этого еще пройдет много времени; пока же начиналась осень сорок третьего года, впереди маячила голодная зима, и нужно было к ней нешуточно готовиться.

Было и еще одно обстоятельство, о котором здесь необходимо упомянуть. Буквально за месяц перед возвращением в родной поселок я едва-едва выкарабкался из жесточайшего сыпного тифа, еще не пришел в себя от сплошного двухнедельного бреда, и на меня еще долго, спустя несколько месяцев, накатывали непреодолимые приступы слабости. Остаток лета и осень сорок третьего года мне большей частью приходилось проводить возле землянки; бабушка Настюха, прозрачно-сухая от постоянного недоедания, но подвижная и легкая, успевавшая все заметить, обо всех позаботиться, поговаривала мне, как старшему мужику в доме, присматриваться к деду Пополу и деду Рыжому, да и делать потихоньку то же самое, что делали они. Она же как-то умело и ловко, а главное, необходимо подсовывала мне лишний кусок; она любила и поговорить со мной в редко выпадавшую свободную минуту, вспоминала меня маленьким, почему-то пятилетним, и сетовала, как быстро пролетели годочки. До самой своей смерти она была у нас как бы бродильными дрожжами, о происхождении в поселке она какими-то неведомыми путями узнавала первая и обсуждала за семейным столом; она решала, что из запасов пустить в дело, а что — приберечь до поры до времени, кому поручить какую работу, причем от работы не освобождался никто: ни большой, ни маленький; и, самое главное, она планировала работу для каждого с безошибочным прицелом в будущее, на год и больше. Так, мою мать она тотчас, как самую бойкую и быстрогоногу, нацелила на самое важное — обеспечивать семью хлебом, на эту Дуню возлагалась вся тяжелая домашняя работа, я с Володей должен был заготовить дров на зиму и подготовить к холодам землянку; сама же она с младшими внуками, не обращая никакого внимания на запрительные надписи, если они встречались, по окрестным полям, каждый день отправлялась накопать ведерное другое каким-то чудом уцелевшей картошки. И еще она самым непостижимым образом добывала семена к весне; достанет ложку-другую семян свеклы, моркови, лука, бережно замотает в тряпицу, спрячет в укромное сухое местечко и все беспокоится, чтобы драгоценное семя не испортили мыши.

Но в первую очередь бабушка Настюха, однажды таинственно пошептавшись о чем-то с дочерьми, собралась как-то в конце августа и пропала почти на неделю; всем нам ее очень не хватало; особенно младшим, все мы как-то болезненно чувствовали ее отсутствие. Но зато бабушка Настюха, вернувшись, уставшая и счастливая, добыла где-то у своих самых дальних родственников в отдаленной лесной деревушке, которую обогла стороной война, двух рябых кур и петуха — голенастого, воинственного, с красным зубчатым гребнем. Бабушка Настюха пришла и опустилась, заставив от боли в старых ногах, на ящик из-под немецких мин; она попросила испить водицы и, едва отхлебнув из немецкой алюминиевой кружки, тотчас принялась распорядиться, вдохновленная своей удачной добычей. Тут же она приказала внукам принести моток немецкого шпагата, ею же где-то и подобранного попутно, сама привязала недоволь-

ных птиц за ноги и пустила их погулять.

— Совсем обезножела, ох, ох, — тяжело вздохнула она, поглядывая на петуха, недовольно клевавшего у себя на ноге затянутый узел. — Ноженки мои... да что за беда... А ты не озоруй, не озоруй! — повысила она голос на петуха, не прекращавшего своих попыток освободиться от привязи. — Ишь, бусурман... Ты покормись, покормись лучше, ишь! Зима-то, она начнется да и кончится, — говорила бабушка Настюха, обращаясь к нам, притихшим внукам, и высказывая свои тайные мысли. — А там снег сбежит, там травка, там червячок... Клев да клев... Много ли курице надо? А там, гляди, и цыпляток выведет, а к осени тебе, к престолу, и петушку можно голову отрубить... Да если бы мучицы белой с фунтиком, да замесить ее, да лапшичкой засыпать...

В это время петуху надоело заниматься бесполезным делом — расклеивать узел на ноге; он востропнулся, неожиданно хлопнул крыльями, выткнул шею, и зазорный петушиный клыч пронесся над пустынным полем; мы онемели от неожиданности и радости, а у бабушки Настюхи показались на глазах слезы; она торопливо смахнула их, перекрестилась, зашептала как бы про себя:

— Ну и слава тебе, господи... Теперь немцу не вернуться...

Тут бабушка Настюха заметила, что из своей землянки вышла Варечка Черная, зорко огляделась, на время как бы застыла, а затем подошла ближе; бабушка Настюха при ее приближении трижды украдкой сплюнула в сторону, от слезу, и трижды мелко перекрестилась издали кур от порчи.

— Ну, okazия, ну, okazия! — всплеснула Варечка Черная руками, не отрывая от петуха жадно разгоревшегося, потрясенного взгляда. — Сижут, своего охломона жду... Фенька-то дверь приладить позвала... Жду, жду... а тут петух! Так и оцунуло, так и оцунуло! Не с того ли света, думаю, глас-то божьей птицы? Ах, да какие ж курочки! Какие ж курочки! — все больше входила в раж Варечка Черная. — Да что за радость, аж в душе посветлело! Ну и скрытые люди, спрашивала тебя, бабка Настя, куда собираешься, а ты ни слова. Ох и люди, ох и люди... Ни словечка! Да я бы хоть на край света, хоть курочку одну с петушком... Хоть бы не такого гоголя, хоть бы какого ледащего...

Тут уж бабушка Настюха не выдержала, забыв обо всем, даже о больных ногах, вскочила с ящика, всплеснула руками на Варечку Черную.

— Да какой гоголь, какой там гоголь? — запримечала она тоненьким, жалобным голоском; такой у нее редко кто и слышал. — Ну и глаза у тебя, Варвара, ну глаза! Сплони! Сплони! — потребовала бабушка Настюха. — У тебя глаз черный, сглазишь! Какой гоголь, совсем никудышный, силу живого донесла, думала, помрет. Глянь, у него вон и гребешок-то побелел, и ноги-то вон куда зря, на сторону гребут...

Петух в это время как нарочно опять весь приободрился и гаркнул пуше прежнего на все поле; даже небо вроде повеселело.

— С перепугу, с перепугу на новом месте! — решительно объявила бабушка Настюха, опережая Варечку Черную. — Со страху, а так ледащая птица, и зиму-то не переживет... Вот взяла, а сама и не рада, видать, обманули, порченого подсунили!

— Да побойся бога! — опять пошла в наступление Варечка Черная, тем более что неугомонный петух как нарочно оглушительно гаркнул еще и еще раз, затем погреб землю ногами и стал подзывать кур, делая вид, что обнаружил нечто удивительно вкусное. — Вон какой знатный петух! Хо-

зяин! Хозяин! — затараторила Варечка, и в самом деле любящая на петуха и отчаянно завидуя всякой бабьей зависти.

— А ты не завидуй, не завидуй! Нехорошо завидовать, Варвара! — в полный голос говорила бабушка Настюха, уже и не зная, как отбиться от назойливой соседки.

— Да как же не завидовать? — спрашивала Варечка Черная. — Сердце-то живое, болит...

— Постыдись, постыдись, Варвара! — продолжала гнуть свое бабушка Настюха. — Нашла куда глаз устремить... На птицу замурыканую! Ох, гляди, рассердился господь, он долго ждет, да болью бьет... Ох, Варвара, гляди!

— Да чего мне глядеть-то?

— А того и глядеть! — повысила голос бабушка Настюха. — У тебя вон мужик рядом всю войну, у других нету. Вон чему завидовать! У других ни у кого нету, а у тебя рядом, рядом. А?

Тут Варечка Черная окончательно вся подобралась и даже несколько раз подскокала как-то боком, боком, словно собиралась клонуть бабушку Настюху. В первую минуту у нее даже голос пропал.

— Мужик? Да какой же мужик? — наконец выдохнула она из себя. — Дыривый весь, голова пробитая... В нем мужичьего-то одни портки!

— Мужик, мужик, — уже спокойнее повторила бабушка Настюха, до нельзя довольная, что ей удалось отвлечь опасное внимание Варечки Черной от петуха. — Вон у тебя у самой все в бунке-то готово, и печка сложена, и вот сенцы-то какие приделаны... Ни снегом не завалит, ни дождем не зальет... Как же не мужик, вон возмет себе топор и что хочешь сделает — и дверь, и раму, и косяк... Вон как за ним весь поселок носится... Владимир Игнатович да Владимир Игнатович... Вон гоголем каким ходит по вдовам да бабылкам, везде в красный угол сажают... Как же не мужик... Мужик!

— Так бесплатно же ходит! — даже взвизгнула Варечка Черная, не в силах дальше сдерживаться от столь образно обрисованной бабушкой Настюхой картины. — Ни крошечки домой не принесет, какая же пынче плата от бед нашей? Что ты, бабка? Чур тебе! А такую печку вон и ваш Петя может сложить, вон пусть глянет придет и сложит! Плата! Плата! Какая ноне плата!

— У мужика, может, и плата мужичья, — окончательно закрепляя за собой позицию, уронила негромко, стараясь, чтобы не слышали внуки, бабушка Настюха; она, когда надо, умела быть и безжалостной. — Варвара! Варвара! Серега, Серега, дай ей водички-то хлебнуть... Чтой-то ты зашлась?

Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы откуда-то в это время не вывернулся сам дед Рыжий; не было никого и ничего, и вот он появился перед нами в самом прекрасном настроении и еще издали, разглядев свою старуху, направился к нашей землянке, бунке, как все у нас в поселке называли подобные землянки; слово это, очевидно, родилось от немецкого «бункер» или «блиндаж», не знаю.

Дед Рыжий был явно благодушно настроен и даже слегка навеселе. Шел он игривой, молодой, какой-то подпрыгивающей походкой; Варечка Черная что-то прошептала беззвучно, пошевелив тонкими, высохшими злыми губами; хотя солнце и появилось, было еще рано; дед Рыжий возвращался обычно домой в сумерках.

Не обращая внимания на Варечку Черную, дед Рыжий поздоровался с бабушкой Настюхой и все свое внимание, разумеется, тотчас обратил на петуха и кур, уже обывшихся и мирно рывшихся в земле в поисках корма.

— Ай, бабка, ай, молодец! — похвалил дед Рыжий, вдоволь налюбовавшись на первую, пожалуй, во всем поселке птичью живность. — Каким же это манаром ты подцепила?

— Аж за Глухов ходила и своим, — сказала довольная похвалой бабушка Настюха. — Туда у меня племянница перед войной-то за холенка выдана... Стешка-то Журавлева... Вот у нее и разжилась... Как же, вроде и немца-то у них не было, коров только кое-у кого свели, а то, почитай, все подворье цело! Хотела щенка принести, да чем его кормить? Пожалела, не взяла, а то-то бы радость ребятне! Важный такой щенок, рыжий, пузо вроде подпалено...

Пока бабушка Настюха с удовольствием рассказывала о своих достижениях, Варечка Черная как бы от-

ступила на время в тень; тем оглушительнее оказался копившийся взрыв. Услышав о рыжем щенке, дед Рыжий, сам страстный собачник, о котором в поселке в этом смысле ходило немало самых невероятных рассказов, даже переменялся в лице и стал ругать бабушку Настюху за то, что она не принесла щенка. Говорил, что за такую радость любую бы цену заплатил и каную хочешь работу сделал бесплатно.

В сердцах он тут же обругал петуха и сказал, что петух хоть птица и веселая, а все самая что ни на есть глупая, без всяких мозгов и только с одними ногами да хвостом, а собака тварь умная — хозяину до смерти друг, получает жены и детей. Ошеломленная неожиданным натиском, бабушка Настюха уже стала защищаться, но тут и раздался тонкий и пронзительный голос Варечки Черной, воинственно уставившей руки в бока, оттопырившей острые свои локотки далеко в стороны и пронзительно, с какими-то захлебывающимися придыханиями засмеявшейся.

— Тебе-то щенка? — спросила Варечка Черная. — Тебе, дураку? Тебе, голоштаннику? Тебе, да? Тебе, междувдворнику, тебе, побирушке? А чем ты его кормить будешь, чем?

— Тю! — изумленно сказал дед Рыжий, оторопев от такого неожиданного натиска. — Молчи, баба! Чеме-рицы объелась...

— Я объелась? С тобой объеешься, кот блудливый! — снова задыхнувшись Варечка Черная. — Много я от тебя вижу, только твои, вонючие, портки всю жизнь и стираю, ты вон себе на смену не заработал. Носишь, пока на заднице не сгниют! Ты скажи, ты где нонче-то весь день околичивался? — понизила голос Варечка Черная и еще тверже устала локотки в бока. — Молчишь, рыжий кобель... молчишь, рыжий...

Тут Варечка Черная загнула такое, что у дед Рыжего кустистые брови встали торчком, а сам он беспомощно оглянулся на бабушку Настюху.

— Тю! — опять сказал он. — Варвара! Остановись! Цыть, стерва-баба! — А-а! Так я еще и стервал! — еще больше взвизнула Варечка Черная. — Вся жизнь несчастная из-за тебя, жизнь мою заел, с самого начала, долю мою несчастную испаскудил! Где ты, окайный, сегодня был? Где околичивался? Где? Где? Скажи! Пусть люди добрые послушают, пусть они узнают!

— Да где же я был, у Феньки я был! — повысил в ответ голос и дед Рыжий. — Работу заканчивал, что ты вынулась-то?

— А-а, заканчивал! — в упоении неслась Варечка Черная дальше. — Ну, закончил, а где же твоё заработанное? Ну, покажи, может, ты денежку рублей принес с заработков? Другого-то не выдать... ну...

— Какие тебе заработки, гнида ты черная! — завопил вконец рассерженный дед Рыжий, уже охотно поддаваясь какому-то особому психозу, который распространяла вокруг себя Варечка Черная. — Да какая же плата после такой порухи может быть? Может, у тебя в роду какой Гитлер был, а у меня корень добрый, христианский... Тю-ю, прорва, замолчи!

— А-а! — теперь уже совершенно вышла из себя Варечка Черная. — Дурочку нашел! Значит, бесплатно, за так робишь? А может, она, Фенька, кобыла гладкая, натурой-то с тобой расплачивалась, а? Она, гляди, глазке всех на поселке, у людей один нос, а ее-то как на дрожжах разносит! А-а! Молчишь! Знаю я, чего ты молчишь, старый кобель! Бабка Настюха! Бабка Настюха! — воззвала распавшаяся до предела Варечка Черная. — Ты погляди на этого лиходея, на эту погильбу мою, на эту сатану огненную, на рожу эту непотребную! Ох, смерть моя! Ох, умираю!

— Будет, будет тебе, Варвара, — попыталась погасить пожар, во многом ею же самой и вызванный, бабушка Настюха. — Ну, мужик, ну, что — рожка как рожка, вись, ухмыляется, как кот от масла. Все они танные...

— Да какой же это мужик? — возмущенно завопила Варечка Черная.

— Мужик, мужик, — подтвердила бабушка Настюха, которой весь этот спектакль был явно по душе. — Сейчас и такой мужик — мужик! А ты чего, Варвара, жалеешь, чего раскрилестилась? От Феньки, коли что, хоть польза будет, хоть душу живую на землю принесет, а от тебя-то кой прок? Да и что это ты устроила неме-

пар.
РСФСР
секре-
древа,
отчет-
го со-
сатель-
и даль-
ма, со-
груп-
работы,
ти ме-
частье
вления
Кузне-
ИСС
и орга-
нрета-
РСФСР
местн-
ма А.
Мези-
аплин-
радов,
льщи-

выбор-
ческим
в. До-
дин и
или Э.
А. Ми-
сония,
ов, А.
работе
е сек-
О СП
г МГК
сатель-
велян,
и ми-
ССР и
творче-
вновь

сен-
О СП
ло от-
ие в
позов
пред-
о объ-
ениях
В. Фе-
гушен-
ев, С.
ругие,
ияния
ретарь
СР Ф.
ления
парт-
вской
и Н.
крета-
СР А.
телем
збран

и сек-
Ю СП
и воп-
строи-
дседа-
ления
кова и
тфон-
у О.

совет-
га Ге-
Труда
и по-
про-
овном
Эстра-
стреч
сере-
СР А.
фраг-
и А.
тисты

СМ!

ателей
ило 6

натур-
Сло-
ателе-

у АН.
ятиле-

Федо-
е ше-

турная
авляет